

КОГДА заходит речь о том, кто в двадцатые годы был самым популярным украинским писателем, сразу же вспоминается имя Остапа Вишни (он же Павло Михайлович Губенко), самого читаемого и издаваемого — после Тараса Шевченко — писателя на Украине. К 1928 году вышло около тридцати его сборников, а тиражи изданий последующих лет достигли двух миллионов.

Остапа Вишню называли в двадцатые годы «Гоголем Октябрьской революции», и не потому, что оба писателя были уроженцами Полтавщины, а за умение смеяться сквозь слезы даже в драматических ситуациях (Вишня умел смеяться и в период сплошной коллективизации, и в годы трагически закончившейся украинизации).

Для ликвидации безграмотности села («уси́шки») Остапа Вишни сделали не меньше, чем официальные ликбезы, а городской житель благодаря его книжкам начал говорить на языке Шевченко, что тоже было немаловажно для «процесса украинизации», осуществлявшегося тогда по принципам ленинской национальной политики.

В те годы (впрочем, как и в 40-е, военные, так и в послевоенные, когда его имя снова выплыло из забвения — а свет на этот период и проливает данная публикация) невозможно представить себе литературные полосы газет, юмористические журналы без фельетонов и рассказов Остапа Вишни.

Такие его юморески, как «Запорожцы», «Зенитка», «Ох, и Мотря ж Карповна», весь сборник «Мудрость колошны», стали классикой. Перечитывая сегодня Остапа Вишню, видишь, ох, сколько правды было в каждой его шутке, порой горькой правды. Да вот хотя бы: «Давайте так на жатве работать и так шутить, чтоб от наших шуток больше зерна в сусеки сыпалось».

Литературная и жизненная судьба Остапа Вишни неординарна. Его антиидеологические фельетоны, напечатанные в 1919 году в Каменец-Подольском под псевдонимом Павло Грунский, в 1920-м стали причиной первого ареста автора. Но благодаря В. Злану (Блакитному), доказавшему украинскому правительству, что произведения юмориста не являются враждебными Советской власти, П. М. Губенко остался не просто жить, но жить и в журналистике, и в литературе. Потом были стремительный взлет и небывалая популярность Остапа Вишни. Но в конце двадцатых — начале тридцатых годов потерявший и главного героя, и читателя своих юморесок — трудолюбивого украинского крестьянина, исчезнувшего на необжитых просторах Сибири, погибшего от голода или растрывавшегося в безликой серой массе, — он и сам оказался как бы «вне жизни». Вульгарные толкователи литературы и «коллегия»-доносители клемили ему ярлык на «кулачного шута», то просто врага Советской власти.

Ордер на его арест был подписан 7 декабря 1933 года, но сама процедура завершилась лишь вечером 26 декабря: девятнадцать дней его буквально «песли» у дома сотрудники ОГПУ. В один из этих дней Павло Михайлович получил телеграмму от знакомого егера с приглашением приехать на охоту, но сильная метель помешала поездке, не ходили поезда. Уже после ареста выяснилось, что телеграмма была «липовой». На второй день после ареста следователь Бордон предъявил О. Вишню обвинение в принадлежности к контрреволюционной украинской военной организации (не существовавшей в природе) и подготовке покушения на секретаря ЦК КП(б)У П. Постышева, заявив при этом, что его признание необходимо народу и большевистской партии. «В результате психического и физического воздействия», — писал позже Остап Вишня в заявлении военному прокурору о реабилитации, — мне пришлось оклеветать себя, приняв на себя тяжелую вину организатора террористического акта...». Так было сфабриковано еще одно дело для замышляемого нового политического процесса против украинской интеллигенции (позади уже был «удавшийся» судебный процесс по делу несуществующей организации «Союз освобождения Украины», который закончился в 1930 г.), 3 марта коллегией ОГПУ Остап Вишня был осужден по статье 58.8.11 сроком на десять лет заключения.

Ни письма, ни заявления и просьбы писателя и его жены ко многим адресатам (начиная от М. Горького и Е. П. Пешковой, кончая Кагановичем и Сталиным) не могли изменить его участи в течение десяти лет. Тяжело больного Остапа Вишню освободили по инициативе А. Довженко и других украинских писателей (не без участия Н. С. Хрущева) только 3 декабря 1943 г. За месяц до освобождения возникла необходимость срочной госпитализации писателя, и его поместили под чужой фамилией — некоего Крохала — в клинику профессора Певзнера в Москве.

Летом 1935 г. жена писателя Варвара Алексеевна Маслюченко, добившись разрешения на совместное проживание с мужем в поселке Кедровый Шор на Печоре, выехала к нему со своей единнадцатилетней дочерью Машей (теперь — Марией Михайловной Евтушенко). За этот поступок ее назвали «декабристкой XX века», хотя ей, в отличие от ее предшественниц, не довелось жить вместе с мужем: через полтора месяца его увезли на рудник Еджид-Кирта, а она оставалась некоторое время за колючей проволокой на иждивении узников, друзей Остапа Вишни, а затем уехала в Архангельск.

Выезжая из Харькова, Варвара Алексеевна спрянула богатейший архив писателя на чердаке дома своих родственников. Но автору этих строк, занимающемуся по долгу службы поисками архивов, удалось в конце 1985 г. разыскать в том же доме накануне его сноса лишь две мемориальные вещи писателя — книжную полку и настольную лампу, которые сейчас экспонируются в Государственном литературном музее Украины в Киеве. Остальное, очевидно, погибло безвозвратно.

Все, что передал Павло Михайлович в руки Варваре Алексеевне уже на Севере (дневник и письма), она сумела сохранить, несмотря на то, что ей как артистке передаваемых периферийных театров и жене политического заключенного довелось часто переезжать с места на место. Дневник Остапа Вишни — небольшая записная книжечка, исписанная бисерным почерком, — велся в течение нескольких месяцев — с 30 июля 1934 г. по 1 февраля 1935-го, когда писатель, по распоряжению Гулага был переведен из Чибью (теперь город Ухта Коми АССР) в Печорское отделение для работ на руднике Еджид-Кирта. Естество-

венно, что во время зимнего этапа (1200 км!) было не до дневника, автор смог зафиксировать на его страничках лишь названия сорока одного населенного пункта на тяжелейшем своем пути.

Известен еще один, последний этап, по которому он прошел в 1938 году, — с рудника Еджид-Кирта в центр Ухтпеллага Чибью, куда его гнали на расстрел. Но по пути у конвоира случился приступ аппендицита. Остап Вишня, фельдшер по профессии, подставил одно плечо больному и повесил на другое оружие, двинулся к месту своего последнего назначения... «И это враг народа?!» — воскликнул изумленный лагерный начальник, когда наконец Остап Вишня сумел переправиться через Печору. Пик расстрелов уже спал, и он очутился в изоляторе, а позже ему посчастливилось работать до конца срока по своей специальности, фельдшером.

Совместно с М. М. Евтушенко нам удалось подготовить для издательства «Радянський письменник» документальную книгу «Горестный путь Остапа Вишни», составленную исключительно из писем, телеграмм, дневниковых записей и других материалов того печального десятилетия. Три письма из готовящейся к печати книги предлагаем вниманию читателей газеты.

Сергей ГАЛЬЧЕНКО

1 января 1936 г.

Вот и новый год! Высокоосный! Что он нам принесет? Покуда он принес мне «тупую боль под лоджечкой и отсутствие стула». Подарочек, как видишь, не ахти. А сколь велика сила традиции! Мы все встали и поздравили друг друга «с новым годом». А Нюра (сестра милосердная) добавила: «С новым счастьем!» Какая ирония!

Франц Францевич Мазур-Мазов — профессор математики Одесского университета, чистокровный немец, в громадных очулах, сам махонький, с огромным, умным лбищем, лежит рядом со мной. У него астраханская малярня (до этого был в Астраханской лагере). Человек широко образованный, и знает все. Сегодня рассказывал мне все утро, что и как ест каждый народ. Как завтракают немцы, американцы, англичане, французы и т. д. Я признал, что более всех «недураки» англичане. У них на завтрак вот что: белая-белая-белая булка режется тоненькими ломтиками, а между этими ломтиками кладется очень-очень-очень много прекрасного масла. Потом это кладется на сковородку и поджаривается. Потом наливается кофе, а в него очень-очень-очень много взбитых сливок, и потом все это завтракается. Причем булку (а ее очень много) надо очень крепко держать во рту: так она рассыпается и сама в живот плывет. А потом еще англичане едят беф. Французы тоже недурно завтракают. И немцы тоже. Хуже всех на этом свете завтракает народ, который называется лагерниками. У них не подается никакой булки и никакого масла. И все это не кладется на сковородку и не ставится в печь. А завтракает лагерник манной кашей на воде безо всякого масла. И это в лучшем случае, когда он в стационаре, и когда о нем кто-то «заботится». Такие вот дела. Я желаю тебе в новом году завтракать по-английски.

Скука в стационаре — семимиль-

К 100-летию со дня рождения
Остапа ВИШНИ

ГОРЕСТНЫЙ ПУТЬ ЮМОРИСТА



ная. Читать нечего. Писать нет охоты. Лежишь и слушаешь, как ревет «новорожденный стахановец» — вчера в 10 час. вечера он впервые увидел свет — на Печоре, в лагере. А мать его — украинка, с Полтавщины и зовут ее Маруся. Отец у него поляк. Что из него выйдет — не ведомо. Кричит он здорово — бутуз здоровый.

Мурочке желаю, чтобы была веселой и чтобы всегда снился ей «соколодный слон»... И чтоб хорошо училась, потому что жизнь будет интересная, но сложная — надо уменьшкую головку иметь...

Так пиши же, Варюшенька. Пиши, не забывай меня. Все же надежда на

лучшее, на нашу общую жизнь, на полезную работу и на возрождение в «образе человеческого» не покидает меня...

11 мая 1936 г.

Так я скажу по тебе, голубка моя, что, окончив час назад одно письмо, сел за второе. Так мне хочется говорить с тобой, так хочется... А как же мне, бедолаге, говорить, если не на бумаге. Ну, и говорю!

Может, почта все-таки будет милосердной и доведет до тебя оба письма...

А мысли у меня, мысли... Все они где-то там, там, где ты, там, где рабо-

та, там, где воля... А воля эта все от-вернувшись стоит, и все мысли искалеченные о ее пышный зад бьются! Хоть бы на мыслях моих острые рога выросли (не на лбу — нет!), чтобы проткнуть этими рогами волин зад, чтобы вскрикнула воля и обернулась... Может, тогда заметила бы она, что великое множество людей глазами, исполненными отчаяния и надежды, мольбы и стоны — смотрят на волю, мечтают о ней, грезят ею... А так — только зад, только бедра да пышные одежды...

Гуси к нам прилетели, утки, лебеди... Они же через Украину летели, и на крыльях у них, наверное, еще остались кусочки солнца украинского! Ну, и сбросили бы, чтоб хоть глянуть, хоть очи свои погреть, я уж не говорю — душу. Нет, летят дальше. Летят, лучами украинскими облитые — и хоть бы тебе «ха!» А что им? Каждый летит «домой», где найдет себе пару, совет гвездышко, выведет детей... Какое ему дело до меня?.. И что нам за товарищ гусь крылатый? Мы теперь — земноводные, забившиеся в норы... О нас теперь можно сказать, перефразируя Горького:

«Загнанный ползает — летать не может».

Да еще «загнанный» не со связанными, а с вырванными крыльями.

В последнее время, Варюша, во мне просыпается тревога о судьбе литературной, вообще забота об обществено-культурной жизни — и проч. Что это значит? Раньше все было безразлично, ничто не интересовало, ни о чем не думалось. А теперь вот книжка Юрия [Яновского], гастрол в Москве, еще что-то, изредка прорывающиеся в нашу бездну с газетками — все как-то тревожит, нервнует... Казалось бы, ежели человек ухнул в пропасть, сидит в грязи, в плевках, в духоте, и видеть тому человеку откуда издадека-далека — едва мерцает! — щелку узенькую, куда пробивается свет, казалось бы: что этот человек может разглядеть? Ничего! Свет, пробивающийся в щель, — только ослепит его. А оно, выходит, нет! Видит! Видит как, словно стоит на горе высокой и вся жизнь у него, словно на ладони... Что же его одолевает? Зависть? Нет! Опасения? Нет, но мы об этом когда-нибудь при встрече поговорим, ибо «никто не ведает ни дня, ни часа, а он же придет сын человеческого»... Даже почта не знает, куда и т. д. Я хотел лишь факт констатировать. Что это — к лучшему, к худшему? Что это такое: или же во мне просыпается жизнь, или начинается раскание? Короче:

«Сама собі дьвууюся —

Що всим интере-су-ю-ся!»

Вот ежели бы мне сказали: «Садись, пиши. Вот тебе условия!» — Я бы сказал: «Нет! Я уж как-нибудь! Нормированном там, либо ассенизатор!»

Как вспомню про литературную работу, меня бросает в жар и в холод, мне страшно почему-то! Я уверен, не потому, что меня постигла страшная катастрофа. Ведь не в литературе дело! Ведь не сами же литераторы... Нет, я считаю, что больших страданий она мне стоила: великих мук, несмотря на такую внешнюю «легкость моего литературного поведения». Очень она выстрадала мною, литература моя. И теперь мне, глядя на все со сторо-

ны, страшно! И теперь, когда меня тут просят написать что-нибудь для «местной прессы», — я с такой мукой за это берусь, что представлять себе не можешь. Это тяжелее, чем возить уголь или пилить дрова. И вот, если во мне просыпается интерес к культурным делам, то, может, это выдохновение? Подождем...

Гляжу на себя порой в зеркало и хохочу. Ну, ладно! Ну, обуду я «срок», ну, выйду — только каким же старым пердуном (пардон!) я выйду! Боже ж мой! Ничего еще, что летом буду стар (что делать? что делать?) — нет, а вдруг и душа моя морщинами покроется, а вместо смеха из груди какой-то пердо-рий вырвется, вместо мыслей — ключья, а вместо блеска в глазах — вонючие огоньки! Что тогда? И на черта я кому нужен буду? А?..

А предешь? Или нет? Ведь я живу, выхожу на Печору и жду!

П.

22 июля 1937 г.

Моя единственная! Самая дорогая и любимая моя! Начиная это письмо сегодня (22.VII), а закончу неизвестно когда, потому что хочу подробно рассказать тебе, как я живу, со всеми житейскими подробностями, с моими болями, мечтами, надеждами. Целый год я жил надеждой, что летом мы увидимся, и тогда все снова будет ясно, как на ладони. Все писал наспех, наскоком, потому что все это время с почтой было плохо, писем не давали, задерживали, отсюда тоже больше двух писем писать нельзя... А в последнее время за то, что хотел передать тебе письмо «минуя», меня лишили права переписки на 3 месяца, аж до 1.X. Такой это год тяжелый и в наших даже отношениях, в переписке, в связях... Все это нервировало, коржило, выбивало из колеи, — а уж летом ударило громом и вовсе оглушило. Я понимаю — запрет нашего свидания... в добавок ко всему еще выехали с рудника В[ладимир] [Иванович] и Е[лизавета] [Ивановна] — то есть те, с которыми я сжился, от которых имел поддержку и моральную, и, честно говоря, материальную — хотя первая поддержка была для меня, разумеется, и дороже, и нужнее. Год и время вообще нервный. Год всеяческих неожиданностей «на воле», а в связи с этим ворох разных слухов здесь, у нас, слухов неимоверных, страшных и химерных, черных и светлых, пугающих и обнадеживающих — все эти слухи в нашем положении, положении страшного нервного напряжения — эти слухи заслоняли и заслоняли всякие перспективы, лущат как-то черно-липким туманом, так что дышать невозможно. И именно в такое время, когда твой приезд особенно необходим, как воздух, как жизнь, — нам запрещено видеться. Тут хочешь — не хочешь — закрутятся...

Работаю там же, живу в той же комнате, на том же месте, о котором ты знаешь... Если останемся на зиму, во-первых, — здесь, а во-вторых, — в этой комнате — думаем подмазать, побелить, печь переложить, чтобы как-то поучевернее пережить...

23.VII [...] Из культурных развлечений — радио и газеты (газеты дают мне почтитать соседи, которые получают их регулярно). Новости и союзные и зарубежные известны... Промелькнуло о крахе Афинского, Кирсона, Ясенского и других. Sic transit gloria mundi! (Так проходит земная слава!) Промелькнуло не так давно и имечко Кулика «нашего», в связи с радиодискуссионным [украинским], «Обсиктранзиль» и его gloria mundi!

Ну, что же — «коемуждо» по делу его». Да что говорить: лучше слушать.

Подаются книги. Прочитал вот «Пушкин в Михайловском» Новикова. Ссылка в родовое имение... Сколько трагедии, боли! Книжка хорошая. Прекрасно понимаю состояние поэта, опутанного царскими цепями... Но... Да что говорить: лучше читать...

Теперь вот поймал произведения Беллинского. Старое издание — полное, только в начале и в конце искусственное. Читаю, не отрываясь. Читаю и перечитываю. Счастливые писатели, имевшие такого критика. А у нас — о, горе наше! — что ни критик, то Щупак, а не то и вовсе — Ключья! У нас и Полторацкая критик, и Коваленко «Боба» — критик. Представляю себе, как Саваоф на том свете собирает всех критиков до кучи: стоит Виссарийон Беллинский, Георг Брандес и рядом с ними Щупак, Ключья и «прочие Динамовы»...

— И это критику? — спросит Саваоф, показывая на Щупаков, на Ключья и на прочих Динамовых...

Делитатные Беллинский и Брандес скажут:

— Господи! Пусть уж лучше мы будем не критику, а они критику... Только б все тихо, без скандала...

И думаешь, Щупак, Ключья и Динамовы покраснеют от стыда?

Ей-богу, нет! Выплатят рахитичные груди, распустят губы и будут стоять, важные...

Сатана — и тот покраснеет от кончика рогов до копты от стыдобушки за них, а они так и останутся стоять с выпяченными куриными грудками.

Великая сила — нахальство. А что думаешь: каждый Щупак может напустить ароматов побольше, чем Беллинский вместе с Брандесом, а потом на каждом углу будет шуметь:

— Брандеса переплюнул. Вот!

Ну, так что же дальше, голубка моя? Как нам жить, как нам быть, как нам горю пообить? У меня одно желание: чтобы ты не впала в отчаяние, чтоб не покидала тебя энергия, чтоб и дальше ты стонически боролась за жизнь, за лучшую нашу с тобой и детей наших долю. Чтоб не забывала меня, чтоб Муру вывела в люди и дождалась того времени, когда мы снова будем вместе, и чтобы я имел возможность и силы помочь тебе отдохнуть после всех мук, которые ты пережила в эти черные для нас дни. Чтоб и не сгубили мы детей своих и чтобы могли утешиться ими на старости лет.

И хоть, возможно, уж не буду пригоден для утех любовных, сгложусь хотя бы для дружеских бесед...

24.VII. Вообще же —

«Крепись, слава подружка

Лютый горести моей!

Выпей с горя! Где там кружка?

Сердцу будет веселей!»

Это уж я тебе, как Пушкин своей няне.

Неужто после такой черной ночи да не будет для нас ясного дня? Будет!!!

Публикация М. М. ЕВТУШЕНКО

КИЕВ